

Татьяна ЯСНИКОВА (г.Иркутск) **НЕВСКИЙ СИБИРЯК**



Они стояли у горбатого мостика через Мойку. Ее правая рука в лайковой перчатке касалась зернистого гранита парапета, очень холодного. У нее были большие серые глаза, и у него тоже были большие серые глаза, круглые, и темно-каштановые волосы, выбивавшиеся из-под черного берета. Был на дворе 1975 год. Я как раз прошла мимо них с родителями и с младшим братом и больше никогда их не видела. Свою историю он рассказал мне спустя тридцать два года.

Тогда молодые люди надевали головные уборы чуть только похолодает. У них были привычки северного народа, а не африканского, как сейчас. Девушка была одета очень хорошо, на голове тоже берет. А он был одет так себе, артистично. Она была дочь московского штабного генерала.

Увидев ее, подошедшую спереди со стороны открытого этюдника, он кратко и внимательно заглянул ей в глаза как в свои, и стал свертывать работу. Он был студент третьего курса института имени Репина и писал пленэрный этюд нехотя — серые краски в природе он не любил. Ленинград всегда представляет серые краски в большом изобилии своих пасмурных дней.

Он положил кисточки на гранит и начал их протирать тряпочкой со скипидаром. Однако

от того, что в ее глазах было что-то такое, он, в них глядя, неловко взял кисточку, запачканную сиеной, и соседняя кисточка скатилась в воду. Они оба одним движением наклонились над парашютом и посмотрели вниз. Кисточка, запачканная церелеумом (ну, с какой стати, на небе была одна хмарь!) уплывала со своим счастливым и ярким голубым по бурым отражениям строений. Кисточка была дорогая. Кисточки были в дефиците.

Молодой человек вздохнул, протер оставшийся пучок кистей небрежно и быстро. Сложил этюдник и тогда был готов слушать девушку внимательно. Хотя... нет. Он подумал о том, что если бы кисточка поплыла не по Мойке, а по Иркуту, он бы кинулся ее догонять в надежде, что ее прибьет к берегу. Он уже видел, как он бежит по плоскому песчаному берегу — и вдруг наткнулся на густую поросль холодного тальника и обрыв, под которым стоял омут.

Тут он уже точно очнулся и снова увидел, что девушка смотрит на него все так же спокойно и глубоко.

— Нет, — сказал он, вздохнув. С девушкой они познакомились несколько месяцев назад, и у них была любовь.

Днем раньше девушка предложила съездить к ней в Москву, где были родительская квартира и дача, понятное дело, шикарные, и много чего еще. Молодой человек, звали его Сашей, жилья не имел, но подрабатывая дворником на Невском получил там закуток с метлами, лопатами и лежанкой из дуба с надписью славянской вязью: «Гди помілуй. Лето 1822». Счастливое детство молодого человека прошло в ветхих бараках, разбросанных по берегу Иркутта, и он уже семь лет наслаждался регулярной планировкой улиц, гениальными: архитектурой, скульптурой, живописью и прочими следами великой империи. Правда, в эти семь лет вошла служба в ракетных войсках в условиях тайги. Молодой человек, таким образом, был не только студент, но и старший сержант.

— Нет, — повторил он.

Она еще раз взглянула на него, как ему показалось, с ужасом, и пошла в сторону улицы

Герцена. А он дошел до своего угла, оставил там этюдник — маленький этюдник. Молодой человек был аккуратен ростом, строен и глубоко красив, как это бывает у лиц творческой профессии. Он, правда, очень не любил пленэр, давно в душе будучи абстракционистом. Пленэр, девушка и еще негритенок, к которому Саша теперь шел, были аккордами серого и черного, растворенными в движении масс улицы, и еще исламской вязью, несущейся в зеркальном отражении резко на него.

Он шел, не слыша гулкого стука своих шагов о камень мостовой, так как стучали тысячи других шагов людей, озабоченных проблемами современности, среди которых были гонка вооружений, приход к власти в Чили режима Пиночета и очередь за билетами на новый фильм Акиры Куросавы. Советским людям совсем не о чем было больше думать.

Молодой человек поднялся на третий этаж дома на Литейном по широкой каменной лестнице цвета древних базальтов, из которых сложены скальные горы в сибирской тайге. Дверной звонок не работал, и молодой человек не в первый раз подумал о том, что он должен его починить. Он постучал в дверь, и когда она открылась, произнес:

— Я к Абрам Петровичу Ганнибалу.

Дверь закрылась, его приняв, навстречу выбежал лет четырех негритенок. Точнее, мулатик, но очень уж черненький.

— Я пришел погулять с малышом.

— Папа, папа, — залепетал малыш.

Вприпрыжку они спустились вниз на холодную улицу, где ближе к вечеру стало уютнее и теснее от жгучего ветра с Балтики и кое-где уже загоревшихся окон. Негритенок это т был ребенком бывшей жены молодого человека. Когда мальчик родился, жена сказала не приходить в роддом, так как она приболела. Когда после выписки ее домой Саша посетил ее у родителей, он с ней тем же месяцем развелся. Тогда она подала на алименты.

От исполнения интернационального долга молодой человек не отказался. Он пошел на две работы – дворником и художником в институт народного хозяйства. Облагалась алиментами и стипендия, которую Саша получал без проблем, будучи очень талантливым студентом.

Отец ребенка Сатб, получив бесплатное столичное образование, отбыл в Ливию с дипломом врача. В Ливии ему показалось жарко. Мальчик же получил имя Игорь Александрович Смольников.

В подкрадывавшейся темноте улицы было нечто символическое. Люди спешили по домам, останавливая взгляды на необычном ребенке лишь на мгновение. Однако же далее по ходу движения им становилось теплее от закравшейся мысли про Африку. Одна единственная прошедшая мимо негрityяночка, одарив улыбкой

Сашу по-родственному, сказала ребенку:

— Ой ты мой малопусик!

Ребенок взглянул на папашу затаенно-вопросительно, но мысль сформулировать не смог. Они пришли в дворницкую, порисовали: Саша иллюстрации пером к Кнуту Гамсуну, а Игорек осенние листья, которые они собрали по дороге. Потом Саша отвел ребенка домой.

Поутру Саша как дворник подмел опавшие с дубов, лип и кленов листья, и работа ему понравилась. Листьев поубавилось — Саша мел их ежеутренне более месяца от дворца Штакеншнейдера, окрашенного нарядно в ярко-алый цвет. Помогал парню и ветер, метущий листья в сторону соседнего участка. Об этом его просил Саша сам, знавший старинные сибирские заклетья. Он как художник совсем не сочувствовал дворнику соседнего участка, греку Самсону, уничижительно отозвавшемуся о конях Клодта. Работать нравилась Саше и тем, что листья принадлежали

несибирским породам деревьев. В детстве Саша был юным натуралистом, он любил, забравшись в заросли по Иркуту, рисовать листочки, и в ту пору он очень много думал о дубах, напевая за рисованием песню «Среди долины ровныя».

Утренний Саша был художником натуральной школы, ему хотелось детальных подробностей мелкоежиковых ощущений. Ему уютно мечталось навсегда стать дворцовым гномиком, которому никто и ни при каких обстоятельствах не расскажет, что Земля несется в кипящем галактическом пространстве.

Такой гномик вместе с друзьями, которые в течение ста пятидесяти лет расписывают стену за портьерой бального зала, ночует на постельке с простынями из великокняжеских шелковых рубашек, похищенных из шкафа в ноябре 1917 года. Постелька покрывается зеленым суконным одеяльцем из николаевской шинели. Причем, у всех гномиков одеяльца одинаковые и, что интересно, пошиты из шинели, похищенной у молодого царя Николая, когда он подавлял декабрьское восстание. Тогда царь Николай очень досадовал, что адъютант никак не сыщет его шинель. Досадовал он и на поднявших восстание дворян. «Гномы! Идиоты!» — воскликнул он с гневом тогда, и гномики кубарем скатились с обувных полок, откуда наблюдали за собирающимися отбыть. Не потеряй тогда Николай шинели, прибавившей ему порядочно гнева, он бы мог мягкотело потерять империю.

А про подушечки и говорить нечего: надергать лебяжьего и гагачьего пуха из думных подушек первых лиц империи не составляло никакого труда. Когда гномики складывали головки на свои самодельные подушечки, они тут же задумывались о судьбе матушки России и, ничего не придумав, сладко засыпали. Вот какие они были молодцы.

По мере приближения к Исаакиевскому собору Саша становился абстракционистом. Он чувствовал своим правым боком как его тянет в сторону Эрмитажа — к Василию Кандинскому на поклон. И нередко случалось, что он от Исаакия сворачивал направо, совсем не владея собой, и вместо натурального класса Репы оказывался возле полотен Кандинского в Эрмитаже.

Если же Саша, пытаясь перехитрить себя, шел другой дорогой, то она тем более не способствовала его скорейшему попаданию на занятия, так как пролегалла по прямой до набережной Невы, где Эрмитаж оказывался уж совсем рядом под правым чешущимся боком. И только то, что нужно было не слететь со стипендии и не обездолить негритенка, удерживало Сашу от вольного распоряжения своим временем.

Абстракционизм Кандинского был полностью предназначен для его умершего в 1920 году в голодной революционной Москве крошечного сына Всеволода. Он был рассчитан на чистое сознание и был посланием в потусторонний мир.

Саше и в голову не могло прийти, что он, рожденный в Забайкалье, был воплощенным узлом тайны Севы Кандинского. Он стал догадываться об этом, когда создал множество абстрактных шедевров, погибших от прорыва водопровода.

Из сибирской апокрифической истории известно, что при последних царях Кандинские были забайкальские купцы и разбойники, рисовавшие свои бумажные купюры в силу того, что дензнаков у местного люда не было в достаточном количестве. За свои деньги купцы Кандинские покупали у народа пушнину и овечьи меха, мясо дичи, самоцветные камешки, золотые слитки, китайские шелк и чай. А народ нес эти денежки обратно к Кандинским и покупал у них иголки, нитки, сукна, лен и ситец, деготь и пеньку. И это было здорово. И потому продолжалось недолго. Василий Кандинский был племянником этих Кандинских.

Когда Саша, вопреки комсомольским совести и чести, оказывался в зале абстрактного искусства, то это было его седьмое небо. Место, где он был до бесконечности счастлив и не пытался подвергнуть свое счастье анализу. Он говорил старушке-смотрительнице: «Выйдите, пожалуйста, Акулина Даниловна, я хочу побыть один». И смотрительница, имея в виду свой интимный статус полуслепой, полуглухой старушки, послушно семенила в соседний зал поболтать с товаркой, когда-то

спроворившей ее на эту работу. Прежде Акулина Даниловна работала уборщицей в Главном штабе, как раз в тех помещениях, что находятся под квадригой Аполлона. У

нее были лычки младшего сержанта, и она чувствовала хребтом, что Саша званием старше.

Оставшись один, Саша осмеливался на блаженную улыбку во весь рот. Он подходил к дверной высокодубовой колоде и чесал об нее спину. Ему начинало казаться, что вот он в Баухаузе равный среди равных в ощущении безграничной свободы ума, проецируемой на туго натянутый, как шаманский бубен, холстик. Свободы столь бесценной, что и холстик — вот он, на стене перед глазами, не имеет цены. В зале, конечно, не было полотен из Баухауза, но в состоянии всеблаженной счастливой свободы это уточнение не имело значения.

В Сашу тонко впивались синее, красное, извивы линий, — и вдруг всплывало тут татарское слово орднунг и Саша вспоминал о

негритенке.

Преподаватель его, Андрей Мыльников, порой говорил ласково Саше: «Сашенька, будь добр, не забывай, что у социалистического реализма свои методы. Пиши не блеск фанфар, а сами фанфары, не синий вечер, а вечер рабочего путиловца, идущего со второй смены в литейном цехе».

Саша был бунтарь. Он понимал революцию. Когда он окончил первый курс Иркутского художественного училища, он собрал свои холсты и рулоны просмотров, сбросил их с черной лестницы вниз, сбежал с нее сам, растоптал их и уехал в Ленинград.

«Саша, — говорил ему Мыльников, — пожалуйста, не так нежно, нельзя очаровывать советского зрителя колоризмом. Нужно прививать себе и ему культуру чувств... ну, потому, хотя бы, что твое искусство будет оценивать человек двадцать первого века, гений коммунизма».

Контрреволюцию Саша понимал тоже. Ведь, если вы помните, каждое утро он был близок к тому, чтобы стать гномиком из дворца Штакеншнейдера.

Саша сепией рисовал натурщика с красивым торсом. А у ног его шахтерский фонарь. Натурщик сидел в плавках, но преподаватель, обходя своих студентов со спины, видел, что каждый из них пририсовал натурщику член сообразно своим представлениям. Студентки же, невозмутимо штрихуя объемы, воспроизводили плавки. И только у Саши на этом спорном месте оказывался дубовый листок, другой раз и кленовый, если он приходил на занятия прямо с дворницкой работы.

Во второй половине дня он спешил на работу в инженерно-экономический институт на Прилукскую. Это недалеко от Лиговского проспекта. Саша останавливался рядом с угловым в пять этажей домом, построенный по проекту архитектора Беккера в 1903 году. Он задира голову и слушал вольный шум деревьев, глядел на высокие окна и высокие этажи простого и строгого строения. Саша отдыхал. Ему хотелось котенком потереться о каждый питерский дом, настолько нравилось ему быть здесь чужим, неузнанным, никому ненужным.

Затем он шел к дому за номером три, где располагался институт, и снова поднимал голову и слушал шум деревьев и поток ветра с Балтики. В опьянении восторга Саша открывал дверь, спешил мимо старушки-вахтера, родственницы Акулины Даниловны. В могучей стране с высоким ядерным потенциалом именно старушки считались самой лучшей охраной социалистических объектов. Затем Саша шел через балетную, театральную, оркестровую студии в свою мастерскую, по пути напиваясь трагично-оптимистическими звуками музыки и действ.

Мастерская у него была большая, с огромными аудиторными окнами, функциональная. В ней были трафареты с портретами Ленина всех калибров, трафареты «Да здравствует Первое мая!», «Да здравствует годовщина Октябрьской социалистической революции», оставленные предшественниками. В мастерской, таким образом, было много красного и алого, что согревало само по себе. Кстати, у такой холодной страны, как Россия, государственный флаг обязательно должен быть алым для согрева граждан эстетическими методами. В алости повсюду развевавшихся флагов и был зарыт успех советской власти.

На этот раз Саша, придя на работу, сел на единственный — сломанный — табурет — ножки у него держались если не шевелиться, и не сразу принялся за работу. Он сколько-то времени сидел и размышлял о том, как хорош синий вечер у рабочего путиловца, идущего со второй смены. Дневной долг перед страной выполнен, план перевыполнен, молодежь в цехе обучается, про зарплату и думать не приходится — так она хороша. И дома все-все есть и не хуже, чем у других. И дует балтийский ветер, напоминая о Великом Октябре. Саша решил, что он возьмет направление в деканате и поедет на Путиловский завод рисовать рабочих.

Саша взял лист ватмана и с энтузиазмом нарисовал и раскрасил студента со студенткой, идущих к вершинам знаний. Он колебался некоторое время: что лучше изобразить в виде вершин знаний — Хамар-Дабан или Саяны? Он нарисовал Саяны, как они видны в Аршане, раскрасил их синим, наверх водрузил флаг СССР, отнес плакат на кафедру теоретической механики и легкой походкой отправился в будущее — в дворницкую на Невский.

Но день еще не был окончен. Саше захотелось поговорить хоть с кем-нибудь. Путь его в толпах людей, растекающихся по приневским улицам, не утомил его — он самозабвенно смотрел в небо.

Телефонная будка была рядом с кафе. Саша надел свою дворницкую робу — бушлат матроса Балтфлота, задержавшийся на гвоздике закутка со времен блокады, и вышел. Синева вечера была военно-морская, тревожная. Окутанный сумерками Саша лучился от счастья. Он решил позвонить Гале — это была библиотекарь из эрмитажной библиотеки, с которой они познакомились на прошлой неделе, оказавшись за одним столиком в буфете. У Гали был больной ребенок и мама. А Саше очень хотелось получить доступ к старинным манускриптам Эрмитажа, чего ему не удалось в библиотеке Академии художеств. Там библиотекарьши были немолодые, они делали уступки только профессуре, и намеки Саши на то, что он всего лишь гном, мечтающий одним глазом взглянуть на подлинные рисунки Брунелески, не доходили до их не воспринимающих шепот ушей.

— Галина Витальевна? Здравствуйте, это Саша, — сказал Саша.

— Здравствуй, Саша, — сказала Галина Витальевна. — Как я рада. Что вы мне позвонили! С тех пор, как я похоронила на прошлой неделе мужа, никто не звонил мне. Приходите ко мне в Эрмитаж прямо сейчас. Коньячку выпьем.

Саше-алиментщику и думать про коньяк не приходилось. Удивившись немного, что у Гали был муж, который к тому же успел умереть с тех пор, как они пили вместе кофе, парень согласился. Дурак-художник, он сначала не подумал о том, что эрмитажная библиотека давно закрылась, а после о том, что Гале в такой поздний час находиться в Эрмитаже, кажется, не должно.

Он вернулся, переменял старый бушлат на студенческое драповое пальтишко и, заскочив в первый попавшийся автобус, проехал несколько остановок.

Сторож Эрмитажа открыл ему, — не очень трезвый такой старик. Там еще дежурил милиционер, из почтения к культурным ценностям всемирного значения, он кивнул Саше и показал на внутренний телефон, добавив, что Галина Витальевна предупредила его о скором Сашином пришествии.

Тут Саше показалось, что это не та Галина Витальевна, но он, находясь в такой мистической обстановке экспроприированного царского дворца, потерял свою выдающуюся способность размышлять. Саша всегда нутром чувствовал свою гениальность и потому имел скромность внешних проявлений своей сущности и вопросов, от нее исходящих.

Призрачное мерцание нерабочего освещения, лепнины, позолоты расстроили его. Ему очень захотелось коньячку. Бедняги цари, как же им, однако, бывало грустно среди этой дребедени.

Саша неплохо знал расположение залов музея. Он самым коротким путем нашел хранилище ДПИ, на которое указал сторож. Саша оказался среди стеллажей с фарфоровыми сервизами и безделушками, очевидно тоже всемирно-исторического значения. Царям-немцам был по душе мейсенский фарфор — он и преобладал. У стеллажей стояли коробки с битыми вещицами. Битья было много, создавалось впечатление, что посуду здесь бьют часто.

Наконец, Саша увидел напудренную, нарумяненную женщину средних лет, как нельзя лучше вписывающуюся в обстановку.

— Здравствуйте, — сказал он, — как я могу увидеть Галину Витальевну?

Голос Саши звучал очаровательно интеллигентно, как будто бы он и не вырос в бараке.

— Это я Галина Витальевна, — удивилась женщина.

Оказывается, в Ленинграде можно перепутать не только девятиэтажку, но и женщину.

— А вам какую Галину Витальевну нужно?

— Из библиотеки. Так это я по телефону разговаривал – с вами?

— Галины Витальевны из библиотеки не бывает здесь в столь поздний час! — удивилась Галина Витальевна-хранительница. — А вы — Саша? Я приняла вас за друга своего умершего мужа. Извините меня.

— Ничего-ничего! — воскликнул Саша. — Вам соболезную. И не откажусь от коньяка, который вы мне предлагали.

Хранительница глянула на Сашу изучающее, в некотором замешательстве, приведшем к тому, что она нечаянно смахнула со своего стола мейсенское блюдце. Саша понял, что в гряде черепков и обломков готовится вывоз истинных ценностей. Саша вздохнул расстроено и сидевший в нем контрреволюционер решил: «Снявши голову, по волосам не плачут». Революционеру же было наплевать на хлам истории.

— А вы будете?

— Студент живописного факультета института имени Репина! — гаркнул Саша по-сержантски и задел нечаянно своим плечом шкаф, с которого тут же навернулся статуэтка как в «Последнем дне Помпеи» Карла Брюллова.

— Ну, слава Богу, — сказала смотрительница, — не чужой человек!

— Никак нет! — гаркнул Саша.

— Что ж вы мне по-армейски отвечаете? Недавно демобилизовались?

— Извините, — сказал Саша, — я нечаянно. Уж очень вы похожи на Ее Величество Анну Иоанновну.

— Вольно, молодой человек! Что же, выпьем тогда коньячку за упокой души моего Фридриха, умершего скоропостижно. Мне страшно приходит в одиночество квартиры, я живу на бывшей Галерной, там мелькают тени елизаветинских чиновников и попов. Мне там не по себе!

В конце концов, после задушевной беседы за искусство Галина Витальевна дала Саше истинный телефон библиотеки и выпроводила его. С высочайшего позволения Саша подобрал с пола осколки статуэтки и положил их к себе в карман. Если учесть, какая роль отводилась подобным вещицам во всенародном Эрмитаже, это был щедрый подарок.

Слегка нетрезвый Саша пешком добрался до своего угла и, едва раздевшись, уснул под курляндским солдатским одеялом 18 века. Откуда одеяло, молодой человек знал со слов

дворника-предшественника по фамилии Остерман. Когда Саша отходил ко сну, ему почудилось, что он устал за всю русскую и советскую историю, вместе взятую. Ему приснилась преширокая быстрая светлая вода и много-много кисточек для живописи маслом.

В начале текста упоминалось о том, что тридцать лет спустя автору этих строк довелось встретиться и беседовать с Сашей. Действительно, это так. Саша закончил учебу и уехал в Иркутск к своим престарелым родителям. Негритенок же Игорек по прошествии тридцати лет собрался жениться, раздобыл Сашин телефон и пригласил его на свадьбу. При встрече с ним оказалось, что он представлял своего папу высоким и чернокожим красавцем, каким был сам. Саше пришлось улететь обратно, чтобы не смущать его душу. Подарок — тридцать тысяч долларов — Саша ему вручил.

В тот год ему удалось продать несколько картин японцам, и деньги на дорогу и подарок у него оказались. Генеральская же дочка еще тогда, тридцать лет назад, скончалась от неразделенной любви методом приема сверхдозы доступного одному лицу из десяти миллионов советских людей героина.

class=